

ПОД СТЯГОМ АЛЫХ ЗОРЬ...



Я точно знаю, кто впервые
Давным-давно сказал: «Не трусь!»

Тогда сказала так Россия,
Россия...
Если кратко — Русь.

К

ОГДА на Ладоге — летописном, новгородском озере Нево — темно-свинцовая даль испятнана «беляками»; когда волны, прохлянув мелководьем, гнут тресту, выворачивают с корнем трухлявые пни и, откатываясь назад, волокут их в сумятицу прибой, только тогда, пожалуй, и можно ощутить безбрежный ладожский простор, его величие и необузданную мощь. В пронзительном шуме ветра, в грохоте набегающих валов тонут крики испуганных чаек, и береговой лес шумит глухо, немолчно, тревожно. Но проходит штормовая ночь, и на рассвете, когда перистые ярко-алые облака встают над горизонтом, отражаются в светлой, застывшей, как слюда, воде, открывается иная, сокровенная красота Ладоги — в ней та же безбрежность воды и неба, но в этой безбрежности больше света и добра. И все-таки даже в эти рассветные часы Ладога неспокойна — по глади вод идут длинные валы, отголоски недавней бури, покачивают малиновые зори, покачивают перистые облака, вставшие над головой. Между громовым прибоем и малиновым сиянием Ладоги переходы почти незаметны постороннему глазу, а их — множество, и все они просятся если не на полотно, то в песенную строку. И счастлив поэт, который с детства вырос на виду у этих зорь, прибойных песков, неоглядных далей, который вообрал в себя, навсегда отпечатал на сетчатке глаз и черноту прибой, и белесый туман-утренник; и киноарьерассветов и закатов. Счастлив поэт, который был восхищенным очевидцем сотворения мира, — из яростного противоборства стихий: света и тьмы, тверди и топн, добра и мирового зла. Александр Прокофьев одарен от рождения этим редкостным счастьем и как поэт, как художник оказался достоин его.

Волны Великой Октябрьской революции выворачивали с корнем все, что прогнило изнутри, но еще цеплялось за землю. Волны Октябрьской революции взбалтывали до дна и отдаленные окраины бывшей Российской империи, и ближайшие окрестности революционного Петрограда. В марте 1919 года потомственный ладожский рыбак Александр Прокофьев стал членом Коммунистической партии. И в марте того же года одним из первых в селе он ушел защищать красный Питер. Позднее не раз и не два в его поэзии отзовутся оружейные раскаты, громыавшие под Нарвой, немолчная скороговорка пулемета, редкие выстрелы снайперов, которые брали белогвардейских офицеров прицелом под левый сосок. Новый мир творился на глазах — мир социальной справедливости и бесклассового устройства. Этот мир творили, руководствуясь волей и разумом партии, миллионы таких же солдат революции, каким был в ту пору Прокофьев.

Над рядами песня-поводыря
Где-то замирает в синеве,
Я иду, и шапка-богатыря
На моей веселой голове.

Давно ли, казалось, этот коренастый парень оставил околицу Кобоны, а его сердце ощутило новые грани мира, за которые этот парень вместе с товарищами дрался против отборных офицерских полков Юденича, почувствовав себя частицей великой силы, чье имя — «Мы».

Мы — миллионы людей бесстрашных,
те, что разрушили гнет.
По всем иноземным морям и странам
слава о нас идет.
На тысячу тысяч верст знамена —
красный бархат и шелк,
Огонь, и воду, и медные трубы
каждый из нас прошел.

Первым выступлением Прокофьева в центральной печати был стихотворный цикл «Шесть песен о Ладоге», горячо поддержанный Иосифом Уткиным. Потом вышла в свет его первая книга «Полдень». Вслед за ней — «Улица Красных зорь». Эти книги, появившиеся в 1931 году, показали, что в советскую литературу вошел поэт, который сумел выразить в слове всеокрушающую силу «железного потока», сметающего на своем пути старь и гниль, как громовой прибор на Ладоге. Поэзия Прокофьева являет собой пример стремительного «саморасширения» чувства любви к отчужденному краю, к «Ладоге-малине», которая «серебрится сизыми и золотит ершом». Прокофьев никогда не был и не мог быть — в силу революционных сдвигов в сознании русского крестьянства — поэтом своего ледового угла, своей сельской глухомани, хотя, к слову сказать, ими не были и другие поэты крестьянства — Кольцов, Некрасов, Никитин, Есенин. Революционный шторм, который поднял на вспененный гребень миллионы таких же деревенских парней, как А. Прокофьев, придал силу и высоту его поэтическому залу. «У меня разгон стиха вселенский», — сказал однажды поэт. И этим вселенским разгоном действительно отмечены все книги стихотворений и лирических поэм.

Одно время в литературной критике имя Александра Прокофьева связывали почти неизбежно с поэтизацией крестьянской волиницы в революции, с той «партизанщиной», которая якобы нашла в его лице талантливую певца. Что ж, не следует категорически, как говорится, с ходу отвергать эти суждения.

Ой, шли полки —
Больно на ногу легки.
Партизанская громада,
Разноцветные портни...
(«Временник»)

— задорно, весело, как бы с посьвистом писал Прокофьев о том взбодороженном море, в котором он был не из последних. Но сводить только к этим мотивам творчество поэта — значит, упрощать и его собственное мировосприятие, и мировосприятие тех, от лица которых он писал партизанские песни и баллады. Всегда и во всем Прокофьев подчеркивает первостепенное значение классовой дисциплины, выдержки и стойкости организованных в когорты солдат, в прошлом хлеборобов и земледельцев. И как пример, как образец этой классовой дисциплины и выдержки для Прокофьева была и остается железная гвардия революции и Великой Отечественной войны — балтийско-моряки.

Справа маузер и слева,
И, победу в мир неся,
Пальцев страшная система
Врезалась в железо вся...

Александр Прокофьев крупномасштабен во всем, к чему бы ни прикасалось его перо. Это его свойство заметил еще в начале тридцатых годов А. Тарасенков. Это его свойство сказывается в любой строке и поныне. Значит, творчество поэта в какой-то степени статично? Ничего подобного!

Взять, например, песенность Прокофьева. Стало общим местом толковать о его словах-самоцветах, о его частушечных запевах, вообще о его узорочной стихотворной речи. Все это, конечно, у него есть, как есть и многочисленные вариации на излюбленные темы «Ладоги-малины». Но Прокофьев дорог всесоюзному читателю тем, что он владеет и былинным распевом, и скоморошным гудком, и даром сказителя волшебных небылиц, и приемами поэта-трибуна. Всеми этими жанрами он владеет не как робкий подмастерье, а как крупный мастер, который и обирает на традицию и одновременно спорит с ней, отталкивается от нее. Он владеет одновременно и настенной скорописью, и книжной лирической миниатюрой, и техникой художников-палешан, и техникой Дейнеки.

Если мысленно представить приемы художников Палеха, многофигурность их композиций, неслиянность их красок, обилие киноарьерассветов, позолоты, охры, бирюзы и гигантски увеличивать их росписи, превратить чудесным образом во фресковую живопись, то это и будет Прокофьев периода «Повести о двух братьях», песен о Громобое. Но ведь в тех же тридцатых годах им написан и чудесный «Временник», и нежно-лирическая книга «В защиту влюбленных», а в недавнее время «Приглашение к путешествию» и «Гроздь», в которых взяли верх уже иные тенденции, иной строй образов и чувств.

Ночь кричала запахами сена,
В полушалок кутала лицо,
И звезда, как ласточка, присела
На мое широкое крыльцо.

Народная песенная стихия в творчестве Прокофьева не копируется, не стилизуется, а обогащается культурой стихотворца, который, по его же словам, никогда не чуждался родословной, «идущей в песни и стихи», — ни «Незнакомки» Блока, ни «Левого марша» Маяковского, ни «Гой, ты, Русь» Есенина, ни «С неба полуденного» Н. Асеева. Короче, поэтическая палитра Прокофьева имеет сложную расцветку, а его строка — сложную внутриядерную основу, в которой скрестились различные достижения современной стихотворной мысли — мысли XX века. «Музыку создаем не мы, создает народ, мы только записываем и аранжируем», — сказал однажды Глинка.

Можно привести десятки примеров, когда та или иная частушка, то или иное народное речение не просто механически вплавлено в текст стихотворения, а облгорожено поэтом, аранжировано им и в таком облгороженном, аранжированном виде возвращено об-

ратно читателям. Достаточно вспомнить его лучшую поэму военных лет «Россия» или сравнить народную веснянку «Весна-красна» с недавним стихотворением, так им и названным — «Веснянка», чтобы убедиться в этом.

Вот почему краски и оттенки невских рассветов поэт не «переносит» в стихи, а концентрирует до невиданной яркости и силы. Вот почему у народа-языкотворца он не берет взаймы слова, а переплавляет их в своем тигле, «И сказом, и сказкой, и древней былинной, и речью, что я завладел, — соловьиной», — сказано со знанием своего долга и права владеть сокровищами русской речи.

«Голубое иго» стихов и песен А. Прокофьева всевластно над сердцами истинных любителей поэзии. И забывать об этом не стоит, когда говоришь о народно-песенных истоках творчества Прокофьева, когда слышишь расхожие суждения, что стих его якобы грубоват, лишен психологических тонкостей и оттенков. Но вот плавное, воистину трепетное стихотворение о любви и нежности, как бы «настоенное» на народной лирике:

Здрожала, нет — затрепетала
Невеселой, сонной лебедой,
Придолинной вербой-красноталом,
Зорями в полнеба и водой.
Плачем в ленту убранной невесты,
Днями встреч, неделями разлук,
Песней золотой, оглохшей с детства
От гармоник, рвущихся из рун!
Чем еще?
Дорожным легким прахом,
Ветром, бьющим в синее окно.
Чем еще?

Скажи, чтоб я заплакал,
Я тебя не видел так давно...

Обостренный, не побоюсь сказать, изощренный вкус к слову А. Прокофьева заставляет его без конца экспериментировать над строкой, причем иные его стихи и становятся такими экспериментами по обновлению слова, имени, названия, понятия, категории, в конце концов, человеческого чувства, связанного с ними. Я хочу обратить внимание на стихи о городе-герое Ленинграде, в которых поэт из самого слова «Ленинград» стремится извлечь небывалый, неожиданный, захватывающий новый смысл. «Это имя — как гром, — так Асеев сказал, — начинает одно из стихотворений этого цикла Прокофьев и добивается того, что рокоушное «эр» пронизывает все строфы. Прекрасны в этом смысле и многие новые стихи поэта о России. Вообще кому-кому, но только не Прокофьеву, казалось бы, сетовать на то, что и он Россию знает плохо. Но вот он пишет:

Нам кое-что простит эпоха,
Отлюбит с нами, отгустит.
Но что Россию знаем плохо,
То уж, наверно, не простит!

И, прочитав такое, невольно соглашаешься с поэтом:

Нам надо знать свою Россию.
Пора пришла. И силы есть!

Глубокий смысл вложен в эти строки. Новое, несравненное, небывалое нарождается в жизни народа, в жизни россиян, и призвание художника — не упустить это новое, запечатлеть его в слове, ибо слово — все-таки: «словом останавливают солнце, словом разрушают города». Но не для разрушения, а для созидания ищет поэт правдивое, единственно верное слово.

Слова мы не на паперти
Выпрашиваем где-то,
Они у нас на скатерти
Свернают, самоцветы!..
Они у нас, они у нас!..
Они как молнии из глаз!

Глаза поэта, открытые всей красоте интернационального братства народов, всей радости мира, мечут молнии презрения, гнева, насмешки в адрес тех, кто сводит, сталкивает бури «в больших писательских домах», кто погряз в догматическом столоверчении.

Им ли усыплять под хлороформом
Общую земную красоту?

— восклицает поэт, слава и эту общую земную красоту, и Родину свою — Россию, в которой «заря в волну бросается с разбега, и сразу разгорается волна!».

И сразу поднимается на ярус,
И вот над ней, бегущей напролом,
Простерт, как птица, алый-алый парус,
И он волны касается крылом!

Много лет тому назад Александр Прокофьев, полушутливо размышляя о кобонской родине, заметил: «Я — светлее. Ни в отца, ни в брата. До полсотни, может, доживу». К счастью, и в этом смысле поэт оказался в свою родословную. Ведь его предки были такими, что

Кровь свистела в жилах — вплоть до гроба,
Проклятая земля и любовь,
До ста лет стояли, как сугробы,
Падали, ликуя и скорбя.

Всенародно известному поэту, лауреату Ленинской премии Александру Андреевичу Прокофьеву 2 декабря исполняется семьдесят лет. И пусть его строчки из последней по времени книги избранных стихотворений — «мне по душе моя работа, да, мне легко и трудно, Русь!» — будут не столько подведением итогов, сколько обещанием новых радостных зорь!